

BOOK BOOK

СТЕФАН  
ЦВЕЙГ

«ГЛАЗА ИЗВЕЧНОГО  
БРАТА» *новеллы*





## ГЛАЗА ИЗВЕЧНОГО БРАТА

Сие есть повесть о Вирате, коего народ прославил четырьмя именами добродетели, но кто не упомянут ни в летописях властителей, ни в книгах мудрецов и чья память забыта людьми.

Сколь ни страшился б ты деянья, в своей ты воле  
не свободен. Ведь каждый шаг и каждый вздох твой суть  
деянье.

**Бхагавадгита, песнь третья**

Что есть деянье? Что бездействие? Для мудрецов  
загадка.

Остерегаться должно и деянья, и проступка,  
Остерегаться и бездействия пустого. Глубок, как бездна,  
смысл деянья.

**Бхагавадгита, песнь четвертая**

В те времена, когда мудрый Будда еще не ходил по земле и не проливал свет познания на своих слуг, жил в стране бирвагов, у царя Раджпутаны, знатный человек

Вирата, которого называли Молнией Меча, ибо он был воин, храбрее самых храбрых, и охотник, чьи стрелы никогда не летели мимо цели, чье копье никогда не взвивалось напрасно и чья рука разила как гром при взмахе его меча. Его чело было светло, взгляд открыто встречал взоры людей: никто не видал его злобно сжимающим руку в кулак, никогда его голос не возвышался до гневного крика. Он преданно служил своему государю, а его рабы почтительно служили ему, ибо не было более справедливого человека на пяти излучинах реки. Благочестивые люди склоняли голову, проходя мимо его дома, а дети улыбались, встречая его взор.

Однажды царя постигло несчастье. Брат его жены, которого он поставил правителем над половиной своего царства, пожелав завладеть и второй половиной, тайными подарками соблазнил лучших царских воинов, чтобы они служили ему. Он уговорил жрецов доставить ему ночью священных цапель озера, уже много тысячелетий служивших символом власти в стране бирвагов. Мятежник снарядил боевых слонов, собрал войско из недовольных жителей гор и, взяв с собой священных цапель, грозно выступил против столицы.

Царь приказал с утра до вечера бить в литавры и трубить в рога из слоновой кости; по ночам на башнях зажигали огни и бросали в пламя растертую чешую рыб, которая желтыми искрами взлетала к звездам в знак призыва. Но пришли лишь немногие: весть о похищении священных цапель тяжело легла на сердца вождей и наполнила их боязнью. Начальник воинов и хранитель слонов, самые испытанные из полководцев, пребывали уже в лагере врага, и тщетно искал вокруг себя друзей покинутый царь (ибо он был суровый властитель, строгий судья и неумолимый собиратель податей. Никого из доблестных военачальников не нашел он перед своим дворцом, а лишь толпу растерянных рабов и слуг.

В своей великой беде царь вспомнил о Вирате, заявившем о верности своей при первом звуке рогов. В носилках черного дерева царь велел отнести себя к дому Вираты. Вирата пал ниц, когда царь вышел из носилок, но тот поднял и обнял его, прося повести войско против врага. Вирата склонил голову и сказал:

- Я сделаю это, господин, и не вернусь в этот дом, пока пламя мятежа не будет растоптано ногами твоих слуг.

И он собрал своих сыновей, своих родичей и рабов, примкнул с ними к кучке верных царю воинов и построил их для похода. Весь день пробирались они сквозь лесные дебри к реке, на другом берегу которой в несметном множестве собрались враги, похваляясь своей силой и рубя деревья для моста, чтобы наутро переправиться и, потоком хлынув на страну, затопить ее кровью. Но Вирата, ходивший раньше на тигров, знал брод выше по течению, и, когда сгустилась тьма, он одного за другим перевел своих людей через реку, и среди ночи они врасплох напали на спящего врага. Они размахивали смоляными факелами, пугая слонов и буйволов, и те, обращаясь в бегство, топтали спящих при белом свете пламени, врывавшегося в шатры. Вирата же первым вбежал в шатер изменника и, прежде чем пришли в себя спавшие, он уже убил двоих, а третьего зарубил в тот миг, когда тот хотел схватиться за меч. С четвертым и пятым Вирата бился один на один во мраке и поразил первого из них в лоб, а другого в обнаженную грудь. Когда же они безмолвно легли, тени среди теней, он загородил собой вход в шатер, дабы никто не проник внутрь, ибо он желал спасти белых цапель, священный символ Божества. Но враги больше не показывались, они в смертельном страхе бежали с поля битвы, а за ними, с криками торжества, гнались победоносные слуги царя. Погоня промчалась мимо и мало-помалу затихла вдали. Тогда Вирата спокойно сел у входа, скрестив ноги; держа в руках окровавленный меч, он ожидал возвращения своих спутников после жаркой схватки.

Прошло немного времени, и Божий день занялся за лесом, пальмы вспыхнули золотым багрянцем зари и засверкали, как факелы, над рекой. Огненной раной прорезало восток кровавое солнце. Тогда Вирата встал, снял с себя одежду и, воздев над головою руки, подошел к воде: он склонился в молитве перед сверкающим оком Бога. Потом

вошел в воду для священного омовения, и кровь стекла с его рук. Когда же рассвет белой волной коснулся его чела, он вышел опять на берег, облачился в свою одежду и с просиявшим лицом вернулся к шатру, чтобы при свете утра посмотреть на подвиги ночи. С застывшим ужасом в чертах, с широко открытыми глазами, раскинув руки, лежали мертвые: с раскроенным лбом — зачинщик мятежа и с рассеченной грудью — изменник, бывший ранее предводителем войска в стране бирвагов. Вирата закрыл им глаза и шагнул дальше — взглянуть на тех, кто пал во сне от его меча. Они лежали, полуприкрытые циновками, и лица двоих были ему неведомы, — это были рабы мятежника из южной страны, с курчавыми волосами и черной кожей. Но когда он повернул к себе лицо последнего, у него потемнело в глазах, ибо это был его старший брат Белангур, горный князь, которого мятежник призвал к себе на помощь и которого он, Вирата, убил ночью собственной рукой. С дрожью склонился он над скорченным телом; но сердце больше не билось, неподвижно застыли раскрытые глаза убитого, и их черные зрачки проникали Вирате в самое сердце. Великому воину стало трудно дышать; как неживой, сидел он между мертвыми, отведя взгляд, чтобы не видеть обвиняющих, застывших очей того, кто был рожден его матерью до него.

Но вскоре раздались громкие клики. Подобно стае диких птиц, ликуя, возвращались после погони воины с богатой добычей и веселой душой. Увидев мятежного князя, убитого в своем стане, и священных цапель в сохранности, они стали плясать и прыгать от радости, и целовали край ниспадавшей одежды у безучастно сидевшего среди них Вираты, и прославляли его новым именем — Молнией Меча. Подходили все новые и новые воины; они грузили добычу на повозки, но колеса под тяжестью поклажи так глубоко увязали в земле, что приходилось бить буйволов терновником, чтобы сдвинуть их с места. Гонец бросился в реку и поспешил вперед, чтобы доставить весть царю, а воины остались при добыче и торжествовали победу. Но молча, в глубоком раздумье сидел Вирата. Только раз возвысил он голос, когда его люди хотели похитить одежду с убитых. Тогда он встал и приказал сложить костер и возложить на него тела убитых для сожжения, дабы души их чистыми вступили на путь перевоплощения. Слуги дивились, что он поступает так с заговорщиками, чьи тела следовало бы бросить на растерзание шакалам, а кости оставить на земле, дабы солнце иссушило их; но они исполнили его волю. Когда костер был готов, Вирата сам разжег его и бросил в огонь благовония. Потом он отворотил лицо и стоял в молчании, пока не рухнули последние бревна и пепел не покрыл опавшее пламя.

Тем временем рабы закончили наводку моста, накануне с хвастовством начатую противником. Впереди шествовали воины, увенчанные цветами банана, за ними следовали рабы, ехали верхом князя. Вирата пропустил всех вперед, ибо пение и клики разрывали ему сердце, и когда, наконец, он тоже двинулся в путь, между ним и шествием, по его воле, был некоторый промежуток. Посреди моста он остановился и долго смотрел вниз, вправо и влево, в текущую воду, впереди и позади него, соблюдая расстояние, остановились в недоумении воины. И они увидели, как он замахнулся мечом, будто грозя небу, но опуская руку, тихо выпустил рукоять, и меч упал в воду. С обоих берегов бросились в реку нагие юноши, чтобы достать его, полагая, что меч случайно выскользнул из рук Вираты, но он строго отозвал их и медленно, с омраченным челом, прошел между удивленными рабами. Ни единого слова не сорвалось с его уст, пока шествие, час за часом, тянулось по желтой дороге к родному городу.

Они были еще далеко от яшмовых ворот и зубчатых башен Бирваги, как вдруг вдали поднялось белое облако. Оно катилось им навстречу, и вот из него, обгоняя пыль, показались скороходы и всадники. Завидя войско, они остановились и устлали дорогу коврами в знак того, что за ними следует царь, чья нога никогда не должна касаться земного праха с часа его рождения и до часа смерти, когда пламя охватит его освященное тело. И уже приближался на древнем слоне царь, окруженный своими отроками. Послушный жожаку, слон опустился на колени, и царь сошел на разостланный ковер.

Вирата хотел склониться перед своим господином, но царь подошел к нему и принял его в свои объятия - честь, не слыханная с начала времен и не упоминаемая в летописях. Вирата приказал принести цапель, и, когда они взмахнули белыми крыльями, раздалось такое ликование, что кони стали взвиваться на дыбы, а погонщики должны были укрощать слонов. Увидя это знамение победы, царь опять обнял Вирату и подал знак одному из слуг. Тот принес и подал меч славного праотца раджпутов, семь раз семьсот лет пролежавший в царской сокровищнице; рукоять его сверкала алмазами, а на клинке золотыми письменами начертаны были таинственные слова победы на древнем языке предков, которого уже не знали ни мудрецы, ни жрецы главного храма. И царь подал Вирате этот меч мечей как дар своей признательности и в знак того, что отныне Вирата будет старшим из его военачальников и предводителем всех его войск.

Но Вирата склонился до земли и сказал:

— Могу ли я испросить милость милостивейшего и обратиться с просьбой к великодушнейшему из царей?

Царь устремил взор на Вирату и отвечал:

— Твоя просьба будет исполнена, прежде чем ты подымешь на меня глаза. И если потребуешь половину моего царства — она твоя, лишь только ты откроешь уста.

И Вирата сказал:

— Так дозвожь же, о царь, чтобы этот меч по-прежнему хранился в сокровищнице, ибо в сердце своем я дал обет никогда больше не брать в руки меча, после того как ныне я убил моего брата единственного, который вышел из одного лона со мной и с которым я играл, когда мать держала меня на руках.

Изумленно взглянул на него царь и сказал:

— Будь же без меча старшим из моих военачальников, чтобы царство мое было неприступным для врагов, ибо никогда ни один герой не вел лучше тебя рать против превосходящих сил. Возьми мой пояс, как знак власти, и моего коня, дабы все узнали в тебе первого из моих воинов.

Но Вирата еще раз склонился до земли и промолвил:

— Незримый подал мне знак, и мое сердце поняло его. Я должен был убить моего брата затем, чтобы узнать, что всякий убивающий человека лишает жизни брата. Я не могу быть вождем на войне, ибо в мече - насилие, а насилие враждует с правом. Тот, кто причастен к греху убиения -- мертв сам. Я же не хочу, чтобы от меня исходил страх, и предпочту есть хлеб подаяния, чем погрешить против этого поданного мне знака. Коротка жизнь в вечном перевоплощении, дай же мне прожить свой срок праведным.

Лицо царя омрачилось, и зловещая тишина сменила шум ликования, ибо не слыхано было со времен отцов и праотцев, чтобы свободный человек отрекался от войны и князь не принял подарка от своего государя. Но царь взглянул на священных цапель, символ победы, добытой Виратой, лицо его вновь просветлело, и он сказал:

— Храбрым перед лицом врагов я всегда знал тебя, Вирата, и справедливейшим среди подданных моего царства. Если я должен обойтись без тебя на войне, то я все же не хочу лишиться твоих услуг. Так как ты знаешь тяжесть вины и справедливо взвешиваешь ее, будь верховным судьей и верши суд на ступенях моего дворца, дабы истина находила приют в моих стенах и право охранялось в стране.

Вирата простерся перед царем и в знак благодарности коснулся его колена. Царь приказал ему сесть на слона рядом с собой, и они въехали в шестидесятибашенный город, где ликование жителей обступило их бушующим морем.

С высоты розовой лестницы, под сенью дворца, с восхода и до заката Вирата вершил суд именем царя. И слово его было, как весы, которые долго колеблются, прежде нежели измерить груз: его взор ясно читал в душе виновного, и его вопросы упорно

проникали в тайны преступлений, как барсуки проникают в темные недра земли. Строг был его приговор, но никогда не выносил он решения в тот же день, оставляя прохладный покой ночи между допросом и осуждением. В долгие часы перед солнечным восходом домашние его часто слышали, как он неустанно ходит взад и вперед по кровле дома, размышляя о правде и кривде. Перед тем как изречь приговор, он окунал руки и лоб в воду, дабы его слово было свободно от горячности. И всегда, произнеся приговор, он спрашивал преступника, не считает ли тот решение неправильным; но редко кто-либо спорил: молча целовали осужденные ступень у его ног и с поникшей головой принимали наказание, как Божью кару.

Но никогда уста Вираты, даже за тягчайшие злодеяния, не возвещали смерть, и он не внимал корившим его за это. Ибо его страшила кровь. И в те годы дождь добела омыл почерневшие от пролитой крови камни круглого колодца праотцев раджпутов, над краем которого палач пригибал головы для смертоносного удара. И все же в стране совершалось не больше злодеяний. Вирата заточал преступников в каменные темницы или ссылал их в горы, где они должны были выламывать камень для садовых оград, и на рисовые мельницы, где они вместе со слонами вертели колеса. Но он чтит жизнь, и люди чтили его, ибо никогда не замечали ошибок в его приговорах, небрежности в его допросах или гнева в его речах. Издалека приезжали к нему в запряженных буйволами повозках земледельцы, чтобы он разрешил их тяжбы, жрецы внимали его словам, и царь следовал его советам. Слава его росла, как растет молодой бамбук, прямой и светлый, и люди забыли данное ему когда-то имя Молнии Меча, и по всей стране раджпутов прославляли его как Источник Справедливости.

И вот когда Вирата уже шестой год вершил суд с высоты дворцовой лестницы, случилось однажды, что привели к нему юношу из племени хозаров — дикарей, живших среди скал и поклонявшихся иным Богам. Ноги его были изранены от многодневного пути, которым его вели в столицу, и четырехкратные путы обвивали его мощные руки, чтобы он ни на кого не мог кинуться, как это грозно сулили его глаза, гневно сверкавшие из-под насупленных бровей. Жалобщики привели его к подножию лестницы и силой поставили связанного на колени перед судьей. Потом они склонились сами и подняли руки в знак обвинения.

Вирата с удивлением смотрел на пришельцев.

— Кто вы, братья, пришедшие издалека, и кто тот, кого вы привели ко мне в путах?

Старейший из них поклонился и заговорил:

— Пастухи мы, господин, и мирно живем на востоке, этот же — злейший из злого племени — бешеный зверь, убивший людей больше, чем пальцев на его руках. Один из жителей нашей деревни отказался дать ему в жены свою дочь, потому что их племя нечестиво: они едят собак и убивают коров. И он выдал ее за купца из долины. Этот же, одержимый гневом, как разбойник, ворвался к нам, убил ночью отца девушки и его троих сыновей, а потом, когда случалось, что слуги убитого гнали скот в горы, он выслеживал их и убивал. Одиннадцать наших односельчан лишил он жизни, пока мы не соединились и не сделали на злодея облаву, как на дикого зверя, и вот мы привели его к тебе, справедливейшему из судей, дабы ты избавил страну от насильника.

Вирата обратил лицо к связанному юноше.

— Правда ли то, что они говорят?

— Кто ты? Царь?

— Я Вирата, его слуга и слуга закона, поставленный налагать возмездие за вину и отделять правду ото лжи.

Связанный долго молчал. Потом он угрюмо взглянул на Вирату.

— Как можешь ты знать, где правда и где ложь, когда знание твое питается только словом людским?

— Против их слова пусть прозвучит твое слово, дабы я узнал истину.

Связанный юноша презрительно поднял брови.

— Я не стану спорить с ними. Как можешь ты знать, что я сделал, если я сам не знаю, что творят мои руки, когда мной овладевает гнев? Я справедливо поступил с тем, кто продал женщину за деньги, справедливо поступил с его сыновьями и слугами. Пусть обвиняют меня. Я презираю их и презираю твой суд.

Гнев потряс присутствующих, когда они услышали, как закоснелый преступник поносит справедливого судью, и судебный страж уже занес суковатую палку для удара. Но Вирата движением руки усмирил их и возобновил вопросы. И после каждого ответа жалобщиков он вопрошал обвиняемого. Но тот стиснул зубы и только раз сказал со злобной усмешкой: — Как хочешь ты узнать истину из чужих слов?

Солнце высоко стояло над головой в час полудня, когда Вирата прекратил допрос. Он поднялся, желая, по своему обыкновению, уйти домой и лишь на следующий день возвестить приговор. Но жалобщики простерли к нему руки.

— Господин, — сказали они, — семь дней шли мы, чтобы предстать пред твоим лицом, и семь дней продлится наш обратный путь. Мы не можем ждать до завтра, ибо скот наш гибнет от жажды и поле ждет нашего плуга. Господин, мы молим тебя, изреки приговор!

Тогда Вирата вновь опустился на ступени и задумался. Лицо его было напряжено, как у человека, несущего на голове большую тяжесть. Никогда доселе не доводилось ему произносить приговор над преступником, который не просил о милости и не защищал себя. Долго думал он, и тени росли по мере того, как текли часы. Потом он подошел к колодцу, омыл лицо и руки в прохладной воде, дабы его слово было свободно от горячности, и сказал:

— Да будет справедлив приговор, который я изреку. Смертный грех принял на себя этот юноша, одиннадцать живых душ изгнал он из теплого тела в мир перевоплощения. Почти год зреет скрыто жизнь человека в лоне матери. Пусть же он за каждого убитого им будет заточен на год в подземный мрак. И за то, что он одиннадцать раз пролил человеческую кровь, да будет он каждый год, а всего одиннадцать раз, бичуем, пока кровь не брызнет из него, дабы он заплатил по числу своих жертв. Но жизнь пусть будет ему сохранена, ибо жизнь даруют Боги, и человек не смеет посягать на Божественное. Да будет справедлив приговор, который я изрек не в угоду кому-либо, а во имя великого воздаяния.

И снова опустился Вирата на ступени, и челобитчики поцеловали их в знак почтения. Но связанный юноша мрачно встретил устремленный на него вопрошающий взор судьи. Тогда Вирата сказал:

— Я призывал тебя просить меня о милосердии и помочь мне против твоих обвинителей, но уста твои не разомкнулись. Если есть заблуждение в моем приговоре, то вини перед Всевышним не меня, а свое молчание. Я хотел быть милостивым к тебе. Связанный встрепенулся:

— Мне не нужна твоя милость. Что она по сравнению с жизнью, которую ты у меня отнимаешь единым словом?

— Я не отнимаю у тебя твоей жизни.

— Ты отнимаешь ее, и отнимаешь более жестоко, чем делают это вожди нашего племени, которое называют диким. Почему ты не убиваешь меня? Я убивал один на один, ты же велишь закопать меня, как падаль, во мрак земли, дабы я гнил годами, потому что сердце твое робеет перед кровью и в тебе нет мужества. Произвол в твоём законе и пытка в твоём приговоре. Убей меня, ибо я убивал.

— Я справедливо отмерил твое наказание...

— Справедливо отмерил? Где же твоя мера, судья, которой ты меришь? Разве ты был наказан, что знаешь бич? Как можешь ты проворными пальцами отсчитывать годы, будто равны часы под солнцем и часы, погребенные во мраке земли? Разве ты сидел в узилище, что знаешь, сколько весен отнимаешь у меня? Ты ничего не знаешь, и нет в тебе справедливости, ибо силу удара знает лишь тот, кто принимает его, а не тот, кто его наносит; лишь испытавший страдание может измерить его. В своей надменности ты дерзаешь карать виновных, а сам виновнее всех, ибо я отнимал жизнь в гневе, в

необоримом порыве страсти, ты же хладнокровно отнимаешь у меня жизнь и отмериваешь мне меру, которой не знаешь и не можешь знать. Сойди со ступеней правосудия, чтобы не соскользнуть вниз! Горе тому, кто мерит мерой произвола, горе невежде, мнящему, что ему ведома истина! Сойди со ступеней, судья неправедный, и не суди живых смертью твоего слова!

Пена ярости выступила на устах юноши, и снова с гневом все набросились на него. Но Вирата вновь остановил их, отвратил свое лицо от юноши и тихо сказал:

— Я не могу отменить приговор, произнесенный с этих ступеней. Да будет он справедливым перед лицом Всевышнего.

И Вирата удалился, а стража схватила связанного юношу. Но еще раз судья оборотился: навстречу ему неподвижно и злобно смотрели глаза насильно уводимого преступника. И Вирата содрогнулся в сердце своем: так похожи были они на глаза его мертвого брата в час, когда тот лежал, убитый его рукой, в шатре мятежного князя...

В тот вечер ни слова не проронил больше Вирата. Взор осужденного впился ему в душу, точно раскаленная стрела. И домашние его слышали всю ночь, как он неустанно, час за часом, ходил по кровле, пока утро не озарило верхушки пальм.

В священном водоеме храма совершил Вирата утреннее омовение и помолился на восток. Затем он вернулся в свой дом, облекся в желтые праздничные одежды, без улыбки приветствовал домашних, которые удивленно, но молча смотрели на его торжественные приготовления, и направился один к царскому дворцу, открытому для него в любой час дня и ночи. Вирата склонился перед царем и прикоснулся к краю его одежды в знак просьбы.

Царь ласково посмотрел на него и сказал:

— Твое желание коснулось моей одежды. Оно будет исполнено, прежде чем ты успеешь его высказать, Вирата.

Вирата заговорил, не поднимая лица:

— Ты поставил меня верховным судьей. Седьмой год вершу я суд именем твоим и не знаю, справедливо ли я судил. Даруй мне месяц тишины, дабы я мог найти путь к истине, и дозвожь мне скрыть мой путь от тебя и от людей. Я хочу совершать праведные деянья, хочу жить без вины.

Царь изумился.

— Оскудеет справедливостью мое царство в этот месяц. Но я не спрашиваю о твоём пути. Да приведет он тебя к истине.

Вирата поцеловал в знак благодарности подножие престола, еще раз низко поклонился и вышел.

С залитой солнцем улицы вошел Вирата в свой дом и созвал жену и детей.

— Ровно месяц вы не увидите меня. Проститесь со мной и ни о чем не спрашивайте.

Робко взглянула на него жена, смиренно глядели сыновья. К каждому склонился он и каждого поцеловал в лоб.

— А теперь ступайте в свои покои и затворитесь, чтобы никто не смотрел мне в спину, когда я выйду из этой двери. И не спрашивайте обо мне, пока не народится новый месяц.

И они отошли в молчании.

Вирата же снял праздничные одежды и надел темные, помолился перед изображением Тысячеликого Бога и, начертав на пальмовых листьях много строк, скатал эти листья в виде письма. С наступлением темноты вышел он из своего безмолвного дома и направился на окраину города, к скале, в которой находились глубокие рудники и темницы. Он стучал в дверь привратника, пока спящий не поднялся со своей циновки и не спросил, кто зовет его.

— Вирата, верховный судья. Я пришел взглянуть на того, кого вчера привели.

— Он заточен в глубине, господин, в самом нижнем подземелье. Проводить тебя к нему, господин?

— Я знаю дорогу. Дай мне ключ и ложись на покой. Утром ты найдешь ключ под твоей

дверью. И не говори никому, что ты меня сегодня видел.

Привратник склонился перед Виратой и принес ключ и светильник; потом, по знаку Вираты, молча отступил и улегся опять на циновку, Вирата же отпер медные ворота, замыкавшие вход в подземелье, и спустился в глубину темницы. Уже сто лет назад цари раджпуттов начали заточать в эти скалы своих узников, и каждый заточенный, день за днем, все глубже выдалбливал гору, создавая новые темницы в холодном камне, для новых жертв тюрьмы.

Еще один взгляд бросил Вирата на четырехугольник неба с ярко сверкавшими звездами, потом он закрыл за собой ворота. Сырым дыханием пахнула ему навстречу темнота, и пламя светильника затрепетало в ней, как испуганный зверек. Еще доносились до него мягкий шелест ветра в деревьях и резкие крики обезьян. В верхнем подземелье звуки эти еще сливались в глухой рокот, но во втором уже стояла полная тишина, недвижная и холодная, как в глубине морской. От камней тянуло лишь сыростью, но не животворным запахом плодоносной земли, и чем глубже спускался Вирата, тем громче отдавался его шаг в могиле молчания.

В пятом подземелье, на глубине большей, чем высота самых могучих пальм, находилась темница узника. Вирата вошел и направил светильник на сжавшееся в комок тело, которое шевельнулось лишь тогда, когда его коснулся свет. Звякнула цепь.

Вирата склонился над юношей.

— Ты узнаешь меня?

— Я узнал тебя. Ты тот, кого поставили господином моей судьбы и кто растоптал ее своей пятой.

— Я никому не господин. Я слуга царя и справедливости. Я пришел, чтобы послужить ей.

Мрачно взглянул узник в лицо судье.

— Что нужно тебе от меня?

Долго молчал Вирата, потом сказал:

— Я причинил тебе боль моим словом, но и ты причинил мне боль твоими словами. Я не знаю, справедлив ли мой приговор, но в твоих словах была одна истина: никто не смеет мерить мерой, которой не знает. Я был слеп и хочу прозреть. Сотни людей посылал я в этот мрак, многих обрек на многое и не ведаю, что я содеял. Ныне я хочу узнать то, чего не знал, дабы стать справедливым и без вины вступить на путь перевоплощения.

Узник все так же неподвижно смотрел на Вирату. Тихо бряцала цепь.

— Я хочу знать, к чему я присудил тебя, хочу изведать ожог бича на своем теле и закованное время в своей душе. На месяц хочу я заступить твое место, дабы узнать, какое я отмерил тебе искупление. Потом я изреку новый приговор с высоты дворцовых ступеней, зная уже его силу и тягость. Ты же будь это время на свободе. Я дам тебе ключ, который выведет тебя отсюда, и предоставлю тебе месяц свободной жизни, если ты дашь мне обет вернуться. И тогда из мрака этой темницы зажжется во мне свет познания.

Узник окаменел. Цепь больше не звенела.

— Клянись мне именем безжалостной Богини мести, настаигающей каждого, клянись мне в том, что на этот месяц ты для всех замкнешь свои уста, и я дам тебе ключ и мое платье. Ключ ты положишь под дверь привратника и выйдешь на волю. Но ты будешь связан клятвой перед Тысячеликим Богом в том, что, когда месяц завершит свой круг, ты отнесешь это послание царю, дабы я был освобожден и впредь мог судить по справедливости. Клянешься ли ты перед Тысячеликим Богом исполнить это?

— Клянусь, — глухо сорвалось с уст потрясенного узника.

Вирата разомкнул цепь и снял с себя одежду.

— Надень мое платье, дай мне свое и закрой лицо, чтобы тебя не узнала стража. А теперь возьми эту бритву и обрежь мне волосы и бороду, чтобы и меня не узнали.

Узник взял бритву, но его дрожавшая рука опустилась. Однако под повелительным взглядом Вираты он исполнил его приказание. Долго молчал он, но потом с криком бросился наземь.

— Господин, я не допущу, чтобы ты пострадал за меня. Я убивал, проливал кровь горячей рукой. Справедлив был твой приговор.

— Не тебе взвесить это и не мне. Но скоро на меня снизойдет свет. Иди же и в день, когда месяц закончит свой круг, явись, как ты поклялся, перед царем, дабы он освободил меня. Тогда я буду знать цену своим деяниям, и мое слово навсегда очистится от неправды. Иди!

Узник пал ниц и поцеловал землю... Тяжко захлопнулась во мраке дверь, еще раз скользнул отблеск светильника по стенам, и ночь пала на часы времени.

Утром никем не узнанного Вирату вывели в поле за городом и там подвергли бичеванию. Когда первый удар обрушился на содрогнувшуюся обнаженную спину, Вирата вскрикнул. Потом он стиснул зубы. При семидесятом ударе у него потемнело в глазах, и его унесли за мертвое.

Он очнулся, простертый в своей темнице, и ему казалось, что он лежит спиной на раскаленных углях. Но вокруг чела его была прохлада, и запах диких трав наполнял воздух; он почувствовал чью-то руку на своих волосах и капли освежающей влаги. Тихо приподнял он веки и увидел жену привратника, заботливо омывавшую ему лоб. И когда он широко открыл глаза, сострадание звездой сверкнуло ему в ее взоре. И через муку своего тела познал он, в сиянии доброты, смысл всякого страдания. Тихо улыбнулся он ей и больше не чувствовал боли.

На второй день он уже мог подняться и ощупать руками холодный камень стен. Он чувствовал, как с каждым шагом ему открывается новый мир, а на третий день зарубцевались раны, вернулись силы и ясность мысли. Он сидел, не шевелясь, и знал о течении времени лишь по каплям, падавшим со стены и делившим великое молчание на множество малых частиц, которые вырастали в дни и ночи, как сама жизнь из тысяч дней вырастает в зрелость и старость. Никто не говорил с ним, мрак застыл в его крови, но из глубин сознания всплывали пестрые картины прошлого, растекаясь, точно родники, тихим водоемом созерцания, в котором отражалась вся его жизнь. Все, что было пережито в отдельности, слилось теперь воедино и открывалось просветленному сердцу Вираты. Никогда доселе дух его не был так чист, как при этом недвижимом созерцании отраженного мира.

С каждым днем яснил взор Вираты, из мрака мало-помалу выступали предметы и раскрывали его осязанию свою форму. И душа его ясна в тихом покое: кроткая радость раздумья, питаемая памятью этой тенью тени, играла образами перевоплощения, как руки скованного узника — камешками, усыпавшими подземелье. Отрешенный от самого себя, зачарованный, не знающий в темноте собственного вида, он все сильнее чувствовал власть Тысячеликого Бога и видел себя проходящим среди теней, но не привязанным душою к ним, освобожденным от рабства воли, мертвым в жизни и живым в смерти. Всякий страх уничтожения растворился в тихой радости избавления от плоти. И чудилось ему, что с каждым часом он глубже погружается во мрак, туда, где камни и черные корни земли, и все же несет в себе зародыши новой жизни, как червь, роющийся в земле, или растение, устремляющееся своим стеблем ввысь, или, быть может, он только скала, покоящаяся в блаженном неведении бытия.

Восемнадцать дней упивался Вирата Божественной тайной самозабвенного созерцания, отрешенный от собственной воли и свободный от жажды жизни. Блаженством казалось ему то, что он свершил во имя искупления, и думы о прегрешениях и неумолимом роке лишь как смутные сонные грезы туманили вечное бдение познания. В девятнадцатую же ночь он внезапно пробудился от сна: земная мысль коснулась его. Раскаленной иглой впиалась она в его мозг. Ужас потряс его, и задрожали пальцы его рук, как листья на ветке. Что, если узник нарушит клятву и забудет его и он останется здесь на тысячу, и тысячу, и

тысячу дней, пока не сгниет заживо и язык его не окоченеет в молчании. Воля к жизни еще раз пантерой взвилась в нем и разорвала оболочку покоя: время хлынуло в его душу, и с ним страх, и надежда, и все смятение живого человека. Он больше не мог размышлять о Тысячеликом Боге вечной жизни, а лишь о себе; глаза его жаждали света, ноги его, тершиися о твердый камень, требовали простора, тосковали по прыжку и бегу. Он не мог не думать о жене и сыновьях, о доме и о своем добре, о жарких соблазнах мира, который мы впиваем нашими чувствами и ощущаем горячей кровью сердца.

С этого дня время, доселе черной зеркальной гладью безмолвно лежавшее у его ног, затопило пробудившееся сознание. Стремительным потоком неслось оно, но не увлекало его в своем течении. Он хотел, чтобы оно подхватило его и умчало, как крутящийся древесный ствол, к желанному часу освобождения. Но время было против него: задыхаясь, словно измученный пловец, вырывал у него Вирата час за часом. Казалось, капли воды на стене медлят в своем падении, так долго тянулось время, отделявшее одну каплю от другой. Он больше не мог оставаться на своем ложе. От мысли, что юноша может забыть о нем и ему суждено сгнить здесь, в этом подземелье молчания, он метался, как безумный, по своей темнице. Тишина душила его: истошным криком изливал он камням свой гнев и отчаяние, проклинал себя и Богов, и царя. Окровавленными ногтями царапал он издевавшиеся над ним скалы и бился головой о дверь, пока не падал без чувств, чтобы, очнувшись, снова вскочить и, подобно бешеной крысе, носиться по каменному мешку.

За эти дни, от восемнадцатого дня созерцательной отрешенности до нового месяца, Вирата прошел через бездны ужаса. Еда и питье претили ему, ибо страх владел всем его существом. Ни одной мысли не мог он удержать в сознании, только губы его считали падавшие капли, которые дробили время, бесконечное время, на часы и дни. И, неведомо для него, волосы у него на висках поседели.

На тридцатый день сверху раздался шум и опять уступил место тишине. Потом прозвучали шаги, распахнулась дверь, ворвался свет, и перед погребенным во мраке предстал царь. С любовью обнял он Вирату и сказал:

— Я узнал о твоём подвиге, величайшем из когда-либо запечатленных в книгах отцов. Как звезда засияет он высоко над нашей низменной жизнью. Выйди же, дабы небесный огонь озарил тебя и счастливый народ мог лицезреть праведника.

Вирата прикрыл рукою глаза, ибо свет причинял ему боль, кровь горячей волной прилила к сердцу; шатаясь, как пьяный, поднялся он из темницы, и слугам пришлось поддерживать его. Но прежде чем выйти из ворот, он сказал:

— О царь, ты назвал меня праведником, я же знаю теперь, что всякий, кто вершит суд, творит беззаконие и отягощает себя виной. Еще томятся в этих подземельях люди, заточенные по моему слову, и лишь теперь постиг я их страдания и знаю: ничем не смеем мы ни за что воздавать. Отпусти и их, о царь, и отстрани народ с моего пути, ибо я стыжусь славословий.

Царь подал знак, и слуги оттеснили народ. Снова наступила вокруг них тишина. И сказал царь:

— На верхней ступени лестницы дворца моего сидел ты и творил суд. Ныне же, когда ты, познав страдание, стал мудрейшим из судей, живших на земле, ты воссядешь рядом со мной, дабы я внимал твоему слову и сам приобщился к твоему знанию.

Но Вирата коснулся его колена в знак просьбы.

— Освободи меня от моего сана. Я больше не могу быть праведным судьей, ибо я теперь знаю, что никто не может судить другого. Карать надлежит Богу, а не людям, и тот, кто посягает на волю судьбы, впадает в вину. Я же хочу прожить свою жизнь без вины.

— Так будь же не судьей, а моим советником, — отвечал царь, — и давай мне справедливые советы о войне и мире, налогах и оброках, дабы я не заблуждался в моих решениях.

И еще раз коснулся Вирата колена царя.

— Не облакай меня властью, о царь, ибо власть побуждает к деяниям, а какое деяние справедливо и не идет наперекор чьей-нибудь судьбе? Если я посоветую войну, я тем самым посею смерть, и каждое сказанное мною слово вырастет в деяние, а каждое деяние таит в себе смысл, которого я не знаю. Справедливым может быть лишь тот, кто не касается ничьей судьбы и ничьих дел, кто живет одиноким. Никогда, не был я ближе к познанию истины, чем тогда, когда был одинок и лишен человеческого слова, никогда я не был свободнее от вины, дозвожь же мне мирно жить в моем доме, не зная других обязанностей, кроме служения Богам, дабы я остался чистым от всякой вины.

— Жаль мне отпускать тебя,— сказал царь,— но кто смеет перечить мудрецу и противиться желанию праведника? Живи по своей воле, и пусть будет честью для моего царства, что в его пределах живет человек, свободный от вины.

Они вышли из ворот тюрьмы, и царь отпустил его. Одиноким шел Вирата и вдыхал сладостный, пронизанный солнцем воздух; с легким сердцем, свободный от всех обязанностей, возвращался он в свой дом. За ним послышалась легкая поступь босых ног, и, обернувшись, он увидел осужденного, чью муку он принял на себя. Юноша поцеловал следы его в пыли, робко поклонился и исчез. И впервые с того часа, как он увидел неподвижные глаза своего брата, Вирата улыбнулся и, радостный, вошел в дом.

Светлы были дни Вираты в его доме. Он пробуждался с молитвой благодарности за то, что глаза его встречают ясное небо вместо мрака, что вокруг него краски и ароматы благословенной земли и звонкая музыка утра. Каждый день снова, как великий дар, принимал он чудо своего дыхания и радость свободы движений, благоговение пробуждали в нем его собственное тело, нежное тело жены и сильные тела сыновей; во всем ощущал он присутствие Тысячеликого Бога, и душа его была окрылена тихой гордостью оттого, что он никогда не вторгнулся в чужую судьбу и никогда не посягал ни на одно из тысяч обличий Незримого Бога. С утра до вечера читал он книги мудрецов и посвящал свои дни благочестию — безмолвному созерцанию, любовному углублению в себя, делам милосердия и жертвенной молитве. Но радостен был его дух и кротка его речь, обращенная даже к ничтожнейшему из слуг, и домашние любили его как никогда. Он был другом бедных и утешителем несчастных. Молитва многих охраняла его сон, и люди не называли его больше Молнией Меча или Источником Справедливости, но Нивой Совета. Ибо не только ближайшие соседи приходили к нему за советом, но и чужие люди совершали странствие издалека, дабы он разрешил их споры, хотя он и не был больше судьей. И слову его подчинялись все. И Вирата был счастлив, чувствуя, что советовать лучше, чем приказывать, и мирить лучше, чем судить; его жизнь казалась ему без вины, с тех пор как он никого ни к чему не принуждал и все же направлял судьбу многих. И в веселии духа вкушал он полдень своей жизни.

Прошли три года, и еще раз три, как один светлый день. Все кротче становилась душа Вираты, и, когда к нему являлись спорщики, он недоумевал, откуда столько беспокойства на земле и как могут люди так злобно вырывать друг у друга жалкое достояние, когда им принадлежит вся необъятная жизнь и сладостное благоухание бытия. Он никому не завидовал, и никто не завидовал ему. Как остров мира возвышался его дом, осененный благостной жизнью, неприступной для стремнин человеческих страстей и для бурных потоков вождлений.

Однажды вечером, в конце шестого года его покоя, когда Вирата уже отошел ко сну, он вдруг услышал громкие вопли и звуки ударов. Он вскочил со своего ложа и увидел, как его сыновья, бросив одного из рабов на колени, хлестали его по спине бичом из бегемотовой кожи, так что брызгала кровь. Широко раскрытые от муки глаза истязуемого встретили его взор. И он вновь узнал запавший ему в душу взор некогда убитого им брата. Вирата поспешно подошел, остановил сыновей и спросил, что случилось.

Они отвечали, что раб, на обязанности которого лежало таскать в деревянных кадках воду из высеченного в скале колодца, уже неоднократно, ссылаясь на изнеможение от полуденного зноя, запаздывал и не раз был за это наказан, пока, наконец, не сбежал вчера,

после особенно сурового наказания. Сыновья Вираты верхом погнались за ним и настигли его уже в одном из селений за рекой; они привязали его веревкой к седлу коня и, то заставляя его бежать, то волоча по земле, истерзанного и израненного притащили домой. Здесь его подвергли еще более жестокой каре, в назидание ему и другим рабам (которые в трепете, с дрожащими коленями, глядели на поверженного), пока Вирата своим приходом не прервал истязание.

Вирата смотрел на раба. Песок у его ног был пропитан кровью. В глазах несчастного застыл ужас, как у животного, над которым занесен нож, и в расширенных неподвижных зрачках Вирата прочел отчаяние и мрак, некогда владевшие им.

— Отпустите его, — сказал он сыновьям, — его вина искуплена.

Раб поцеловал прах у ног Вираты. Впервые сыновья с досадой отошли от отца. Вирата вернулся в свои покои. Сам того не замечая, омыл он лоб и руки и при этом внезапно с испугом понял то, в чем не отдавал себе отчета: впервые за шесть лет он опять стал судьей и решил судьбу человека. И впервые за шесть лет сон опять бежал от него.

И когда он без сна лежал в темноте, перед ним возникли полные ужаса глаза раба (или то были глаза его убитого брата?) и гневные глаза сыновей, и он вновь и вновь спрашивал себя, справедливо ли поступили его сыновья с этим слугой. Из-за малой провинности кровь обагрила песок его дома, бич врезался в живое тело из-за ничтожного упущения, и эта вина жгла его сильнее тех ударов бича, что обжигали некогда его спину. Правда, наказание это постигло не свободного человека, а раба, чье тело с самого рождения принадлежало ему, Вирате, по закону царей. Но справедлив ли этот закон перед Тысячеликим Богом? Справедливо ли, чтобы тело человека было всецело подчинено чужой воле, чужому произволу, и неужели свободен от вины тот, кто отнимает у раба его жизнь или губит ее?

Вирата встал со своего ложа и зажег светильник, чтобы поискать ответ в книгах мудрецов. И нигде он не нашел различия между человеком и человеком, кроме деления людей на касты и сословия, нигде, во всем тысячеликом бытии, не нашел он закона, освобождающего от долга любви к человеку. Все с большей жадностью впивал он знание, ибо никогда душа его так не терзалась сомнением. Но еще раз ярко вспыхнуло пламя светильника и погасло.

И когда на Вирату пала тьма со стен, им овладело странное чувство: ему казалось, что не свою опочивальню он обводит ослепшим взором, а темницу, в которой он некогда с ужасом познал, что свобода есть глубочайшее право человека и что никто никого не смеет заточить ни на всю жизнь и ни на один год. Раба же этого, понял Вирата, он заточил в невидимый круг своей воли и приковал его своим прихотливым решением, не оставив ему свободным ни единого шага в его жизни. Вирата сидел не шевелясь, и прозрение снизошло на него, мысли ширились в груди, пока с неизреченной высоты не проник в него свет. Он понял, что и здесь не был свободен от вины, ибо подчинял людей своей воле и называл их рабами по преходящему закону человеческого, а не по извечному закону Тысячеликого Бога. И он простерся в молитве.

— Благодарю Тебя, Тысячеликий, за то, что Ты посылаешь мне вестников, во многих обличьях, дабы я не закоснел в неправде и все усерднее шел навстречу Тебе по незримому пути Твоей воли! Помоги мне постигать мою вину в обличающих глазах извечного брата, которого я вижу повсюду, который глядит и из моих глаз и чьей мукой я терзаюсь, дабы я чистым прошел по жизни и дыхание мое было свободно от вины.

И опять прояснилось чело Вираты. Со светлым взором вышел он под ночное небо, принимая белый привет звезд и глубоко вдыхая порывистый шум предрассветного ветра, садом спустился он к реке, и когда на востоке поднялось солнце, он погрузился в священные воды и вернулся к домашним, собравшимся для утренней молитвы.

Он вошел в их круг, приветствовал их доброй улыбкой, сделал знак женщинам, чтобы они удалились в свои покои, и обратился к сыновьям:

— Вам известно, что уже много лет на душе у меня одна-единственная забота: праведно, без вины прожить свою жизнь на земле; и вот вчера кровь обагрила порог моего дома, кровь живого человека, и я хочу смыть с себя эту кровь и искупить прегрешение, совершенное под сенью моего крова. Пусть раб, который за малую провинность понес слишком жестокое наказание, отныне будет свободен и идет куда хочет, дабы он не обвинил перед вечным судьей ни вас, ни меня.

Молча стояли сыновья, и Вирата чувствовал враждебность в их молчании.

— Безмолвием встречаете вы мои слова. Но я не хочу ничего решать, не выслушав вас.

— Провинившемуся ты хочешь подарить свободу, дать ему награду вместо наказания,— начал старший сын.— Много слуг в нашем доме, и один в счет не идет. Но каждый поступок влечет за собой другие, составляя с ними общую цепь. Отпуская этого раба, как ты удержишь других, принадлежащих тебе, если они пожелают уйти?

— Если они захотят уйти из моей жизни, я должен буду отпустить их. Ничью судьбу я не хочу держать в руках, ибо тот, кто кует судьбы, впадает в вину.

— Но ты нарушаешь законное право, — начал второй сын, — рабы эти принадлежат нам, как принадлежит нам земля, дерево этой земли и плод этого дерева. Служа тебе, они связаны с тобой, и ты связан с ними. Ты посягаешь на порядок, который существует тысячелетия. Раб не господин своей жизни, а слуга своего господина.

— Есть только одно право от Бога, и это право — жизнь; оно дается каждому с первым дыханием. К добру призвал Ты меня, ослепленного и мнившего себя свободным от вины; годами я владел чужими жизнями, теперь же я прозрел и знаю: праведный не должен обращать людей в скотов. Я всех хочу отпустить на волю и быть свободным от вины перед ними на земле.

Упорство было написано на лицах сыновей, и жестко ответил старший из них:

— Кто будет орошать поля, дабы не зачахли посевы риса, кто погонит буйволов в поле? Должны мы сами стать слугами во имя твоей причуды? Ты сам никогда не утруждал рук своих и никогда не думал о том, что твоя жизнь зиждется на чужом труде. А ведь есть чужой пот и в плетеной циновке, на которой ты лежал, и твой сон охраняли опахала слуг. И вот ты хочешь всех прогнать, чтобы никто больше не грудился, кроме нас, твоей плоти и крови? Быть может, ты прикажешь нам выпрячь буйволов из плуга и самим тянуть постромки, дабы избавить животных от бича? Ведь и скотине Тысячеликий дал дыхание! Не касайся, отец, установленного, ибо и оно от Бога! Не добровольно разverzается земля, нужно применить силу, дабы она принесла плоды. Насилие есть закон подзвездного мира, и не можем мы отринуть его.

— Но я хочу отринуть его, ибо сила редко бывает права, я же хочу праведно прожить свою жизнь на земле.

— Без силы нельзя владеть ничем, ни человеком, ни скотом, ни безответной землей. Где ты хозяин, ты должен быть и господином; кто владеет, тот привязан к судьбе других людей.

— Но я хочу отрешиться от всего, что ввергает меня в вину. И я повелеваю вам отпустить рабов и самим трудиться для своего дома.

Гнев сверкнул во взорах сыновей, они едва подавили ропот. Потом старший молвил:

— Ты сказал, что не хочешь насиловать ничьей воли. Ты не хочешь повелевать твоими рабами, дабы не впасть в вину. Нам же ты приказываешь и вторгаешься в нашу жизнь. Где же здесь, спрашиваю я тебя, справедливость перед Богом и людьми?

Долго молчал Вирата. Когда же он поднял взор и увидел пламя алчности в их глазах, он содрогнулся в сердце своем. Потом тихо сказал:

— Вы правы. Я не хочу насиловать вашу волю. Возьмите дом мой и разделите его по своему желанию. Я не хочу больше владения и не хочу вины. Верно сказал ты: кто властвует, тот лишает свободы других, но прежде всего — свою же душу. Кто хочет жить

без вины, тот не должен иметь власти ни над своим домом, ни над чужой судьбой, не должен питаться чужим потом и кровью, не должен дорожить страстью женщины и сытой ленью. Только тот, кто живет один, живет для своего Бога, только деятельный знает Его, только бедняк обретает Его вполне. Я же хочу быть ближе к Незримому, чем к своей земле, и жить без вины. Берите дом и делите его в мире между собой.

Вирата повернулся и ушел. Дивясь, стояли сыновья; утоленная алчность сладостно пламенела в них, и все же они были пристыжены.

Вирата же заперся в своем покое и оставался глух к призывам и уговорам домашних. Только когда спустились ночные тени, он собрался в путь: взял посох, чашу для подаяния, топор для работы, горсть плодов для утоления голода и пальмовые листья с письменами мудрости — для благочестивой молитвы, подоткнул края одежды выше колен и молча покинул дом, ни разу не оглянувшись ни на жену, ни на детей, ни на все свое добро. Всю ночь шел он, пока не достиг реки, в которую однажды, в горький час пробуждения, бросил свой меч, перешел вброд на другой берег и направился вверх по течению, где не было и следов жилья и земля еще не знала плуга.

На заре он дошел до места у изгиба реки, где молния поразила старое манговое дерево и выжгла прогалину среди чащи. Тихо струилась река, и стая птиц кружила над мелкой водой, безбоязненно утоляя жажду. Светло было здесь, на открытом берегу, а позади высились тенистые деревья. Еще валялись кругом расщепленные молнией обломки ствола и ветки кустарника. Вирата оглядел уединенную прогалину в лесной глуши, и он решил построить здесь хижину и посвятить остаток дней своим созерцанию, вдали от людей и свободным от вины.

Пять дней сколачивал он хижину, ибо руки его были непривычны к работе. Но и после дни его были наполнены трудами: нужно было искать плоды для своего пропитания, вырубать заросли, со всех сторон буйно наступавшие на его хижину, возвести ограду из острых кольев вокруг нее, чтобы голодные тигры, оглашавшие ревом ночной мрак, не врывались в его жилье. Но ни один человеческий звук не проникал в жизнь Вираты и не смущал его душу; безмятежно, как вода в реке, текли его дни, питаемые неиссякающим источником.

Птицы же прилетали по-прежнему, тихий отшельник не пугал их, и вскоре они стали вить гнезда под кровлей его хижины. Он рассыпал для них семена больших цветов и разбрасывал плоды. Они смело подсакивали совсем близко к нему и уже не боялись его рук, слетали с пальм, когда он их манил, он играл с ними, и они доверчиво позволяли трогать себя. Однажды он нашел в лесу молодую обезьяну: она сломала себе руку и по-детски всхлипывала, лежа на земле. Он взял её к себе, вырастил, и понятливое животное, подражая ему, выучилось оказывать услуги. И так он был окружен мирными живыми созданиями, и все же он знал, что и в животных таится насилие и зло, как в человеке. Он видел, как крокодилы яростно кусали и преследовали друг друга, как птицы острым клювом выхватывали из воды рыб и как змеи, в свою очередь, внезапно сжимали своими кольцами тех же птиц. Вся чудовищная цепь уничтожения, которой жестокая Богиня захлестнула весь мир, предстала перед ним как непреложный закон, и мудрость не могла опровергнуть его. Но Вирате отрадно было оставаться лишь созерцателем этих битв, свободным от вины и непричастным к круговороту побед и поражений.

Год и еще полгода не видал Вирата ни одного человека. Но однажды охотник, преследуя на другом берегу слона до места водопоя, увидел необычайную картину. Перед маленькой хижинкой сидел, озаренный желтым вечерним светом, белобородый старец, птицы мирно ютились в его волосах, обезьяна звонкими ударами раскалывала орехи у его ног. Он же смотрел на верхушки пальм, где качались синие и пестрые попугаи, и когда он поднял руку, они искрометным облаком слетели вниз и опустились ему на колени. И

подумал охотник, что он видит святого, о коем было возвещено, что «звери будут говорить с ним голосом человеческим, и цветы вырастать под его стопами; звезды будет срывать он устами своими и двигать месяц по небу одним дыханием своим». И охотник забыл про охоту и поспешил домой поведать о виденном.

Уже на другой день стали стекаться любопытные, чтобы с того берега подивиться на чудо. Все увеличивалось их число, пока, наконец, один из них не узнал Вирату, покинувшего свою родину, бросившего дом и имущество во имя великой справедливости. Все дальше летела весть и, наконец, достигла царя, скорбевшего об утраченном верном слуге, и он велел снарядить ладью с четырёхжды семью гребцами. Без усталости гребли они, пока ладья не поднялась против течения до того места, где стояла хижина Вираты. Тогда они постлали ковры под ноги царю, и он направился к мудрецу. Но уже год и шесть месяцев не слышал Вирата голоса человеческого; робко и нерешительно поднялся он навстречу гостям, забыл о поклоне слуги перед властелином и только сказал:

— Да будет благословен приход твой, о царь!

Царь обнял его.

— Много лет уже я вижу, как ты идешь по пути к совершенству. И я хочу узреть, как живет праведник, дабы поучиться у него.

Вирата поклонился.

— Ничего мне не ведомо, кроме того, что я разучился жить с людьми, желая быть свободным от всякой вины. Только самого себя может поучать одинокий. Я не знаю, мудро ли то, что я творю, не знаю, счастье ли то, что я чувствую, — ничего не могу я советовать и ничему не могу учить. Мудрость одинокого отлична от мудрости мирской, и закон созерцания отличен от закона деяний.

— Но видеть, как живет праведный, — это уже значит учиться, — отвечал царь. — С тех пор как я встретил твой взор, я преисполнился светлой радости. Большого я не требую. Вирата вновь склонился перед царем. И вновь обнял его царь.

— Могу ли я сделать что-нибудь для тебя или передать весть твоей семье?

— Ничего нет больше моего на земле, о царь, или же все мое. Я забыл, что некогда и у меня были дом среди других домов и дети среди других детей. Безродному принадлежит вся земля, отшельнику - вся полнота жизни, безвинному - мир и покой. У меня нет другого желания, как жить без вины на земле.

— Прощай же и помни обо мне в благочестии своем.

— Я помню о Боге и тем самым помню и о тебе и обо всех на земле живущих, ибо они часть Его и дыхание Его.

Вирата пал ниц. Царская ладья тронулась вниз по реке, и много месяцев отшельник не слышал человеческого голоса.

Еще раз взмахнула крылами слава Вираты и белым соколом облетела страну. В самые отдаленные селения и хижины на морском берегу дошла весть о том, кто покинул дом свой и добро свое ради жизни благочестивой, и люди прозвали праведника четвертым именем добродетели — Звездой Одиночества. Жрецы восхваляли его самоотречение в храмах, а царь — перед своими слугами. И когда судья изрекал приговор, он всегда присовокуплял: «Да будет слово мое справедливо, как справедливо было слово Вираты, который живет теперь только для Бога и достиг высшей мудрости».

И бывало так — год от года все чаще, — что кто-нибудь, поняв неправду своих деяний и суетность своей жизни, покидал дом и родину, раздавал свое имущество и уходил в лес, чтобы, подобно тому праведнику, сколотить себе хижину и жить только для Бога. Ибо пример есть сильнейшая связь на земле между людьми, каждое деяние пробуждает волю в других, и, стряхнув с себя дремоту, человек деятельно наполняет часы дней своих. И те, что очнулись, поняли пустоту своей жизни, увидели кровь на своих руках и вину в своих

душах; они снимались с места и уходили в лес, подобно Вирате, сколачивали себе хижину и отныне, заботясь лишь о насущнейших нуждах своего тела, предавались беспредельному благочестию. Когда они, собирая плоды, встречались на лесных тропах, они не произносили ни слова, дабы не связывать себя новыми узами, но глаза их радостно улыбались, и в душах своих они несли друг другу мир. Народ же называл тот лес Урочищем Благочестивых, и ни один охотник не углублялся в его дебри, страшась осквернить убийством святость этого места.

И вот однажды Вирата, блуждая утром по лесу, увидел отшельника, неподвижно простертого на земле, и когда склонился над ним, чтобы его поднять, то заметил, что жизнь покинула его. Вирата закрыл мертвому глаза, прочитал молитву и попытался вынести брэнную оболочку покойного из чащи: он хотел сложить костер, дабы тело этого брата чистым могло вступить на путь перевоплощения. Но тяжесть была чрезмерна для его рук, ослабевших от скудного питания плодами, и он пошел вброд на тот берег, в ближнее селение, просить о помощи.

Когда жители селения увидели праведника, которого они называли Звездой Одиночества, они подошли к нему и, почтительно выслушав его волю, тотчас отправились рубить деревья для предания мертвого погребению. И где проходил Вирата, женщины падали ниц, дети останавливались, изумленно глядя вслед шествующему в молчании, и многие мужчины выходили из своих домов поцеловать край одежды высокого гостя и принять благословение святого. С улыбкой проходил Вирата сквозь эту волну человеческого благоволения и чувствовал, как сильно и чисто он снова может любить людей с тех пор, как больше не связан с ними.

Когда же он проходил мимо последнего, низенького дома селения, все так же ласково отвечая на приветствия встречных, он вдруг увидел устремленные на него полные ненависти глаза женщины; Вирата содрогнулся — ему показалось, будто он снова видит давно забытые глаза убитого им брата. Он в ужасе отпрянул — так отвыкла его душа от вражды и злобы за годы уединения. Он пытался уверить себя, что это лишь обман зрения. Но черный неподвижный взор по-прежнему был устремлен на него. И когда, овладев собой, Вирата шагнул вперед, чтобы приблизиться к двери, женщина отступила в глубину дома, и из темноты по-прежнему сверкал обращенный на него горящий взор, словно глаза тигрицы в неподвижной чаше.

Вирата старался ободрить себя. «Как могу я быть столь виновен перед той, которой никогда не видел, что она с такой ненавистью смотрит на меня? — говорил он себе. — Это, наверно, ошибка, нужно разъяснить ее». Спокойно подошел он к дому и постучал в дверь. Лишь гулкий отзвук ответил ему, и все же он чувствовал враждебную близость чужой женщины. Терпеливо продолжал он стучать, ждал и стучал опять, словно нищий. Наконец она вышла нехотя, устремив на него мрачный и ненавидящий взор. — Что тебе еще надо от меня? — яростно напустилась она на него.

И он увидел, что она должна была ухватиться за косяк, так потрясал ее гнев.

Вирата же смотрел ей прямо в лицо, и легко стало у него на сердце, ибо он убедился, что никогда доселе не видел ее. Она была молода, а он уже много лет как сошел с людских путей; ни разу не могли скреститься их дороги, и никогда не мог он причинить ей вред.

— Я хотел приветствовать тебя словами мира, женщина, — отвечал Вирата, — и спросить, почему ты смотришь на меня с гневом? Что я сделал тебе? Разве я причинил тебе зло?

— Что ты мне сделал? — злобная усмешка скривила ее губы. — Что ты мне сделал? Малость только, самую малость: мой дом был полной чашей, ты опустошил его. Ты похитил у меня самое дорогое и убил мою жизнь. Уйди, чтобы я не видела больше твоего лица, не то я не сдержу своего гнева.

Вирата в удивлении смотрел на нее. Ее глаза так дико блуждали, что он подумал, уж не безумная ли перед ним. Он повернулся, готовясь уйти, и сказал только: — Я не тот, за

кого ты меня принимаешь. Я живу вдали от людей и не виновен ни в чьей судьбе. Твои глаза обманывают тебя.

Но она с ненавистью крикнула ему вслед:

— Нет, я узнала тебя, кого все знают. Ты Вирата, тебя называют Звездой Одиночества, тебя прославляют четырьмя именами добродетели. Но я не стану тебя прославлять, мой язык не устанет обличать тебя, пока меня не услышит Высший Судия всех живущих. Войди же, если ты хочешь увидеть, что ты мне сделал.

И она увлекла изумленного Вирату за собой в дом и распахнула дверь в низкую и темную комнату, где в углу что-то неподвижно лежало на циновке. Вирата нагнулся над циновкой и в ужасе отпрянул: перед ним лежал мертвый мальчик, и неподвижные глаза с укором были устремлены на него, как некогда глаза убитого брата. Женщина стояла рядом и, сотрясаясь от рыданий, кричала:

— Это мой третий, последнее дитя моего лона, и его ты умертвил, ты, которого называют святым и слугой Богов!

Вирата хотел задать вопрос, отвести от себя обвинение, но она повлекла его дальше.

— Посмотри на этот пустой ткацкий станок! Здесь стоял Паратика, мой муж, изо дня в день и ткал белый холст. Не было в стране ткача искуснее его. Издалека приносили ему работу, и работа приносила нам жизнь. Светлы были наши дни, ибо Паратика был добр и трудолюбие его не имело границ. Он не знался с нечестивыми и избегал праздной суеты улицы. Трех сыновей подарила я ему, и мы растили их, дабы из них вышли люди, подобные их отцу, добрые и честные. И вот однажды пришел охотник — о, если бы он никогда не являлся сюда! — и поведал, что есть в стране человек, который оставил свой дом и имущество свое, чтобы при жизни приблизиться к Богу, и построил себе жилище своими руками. С того дня омрачился дух Паратики, он подолгу думал вечерами и не говорил ни слова. И однажды, проснувшись среди ночи, я не увидела его подле себя. Он ушел в лес, который называют Урочищем Благочестивых и где ты пребывал, ушел, чтобы помнить о Боге. Но, помня о Боге, Паратика забыл о нас и забыл, что мы жили его трудом. Нищета вошла в наш дом, детям не хватало хлеба, они умирали один за другим, а сегодня и этот, последний, умер из-за тебя. Ибо это ты соблазнил Паратику. Ради того, чтобы ты приобщился к истине и к Богу, трое детей, рожденных мною, ушли из жизни. Чем искупишь ты это, если я призову тебя к ответу перед Судией живых и мертвых? Чем искупишь ты предсмертные муки их маленьких тел, корчившихся от боли в то время, как ты бросал крошки птицам и был далек от всякого страдания? Как искупишь ты то, что соблазнил честного труженика оставить работу, кормившую его и невинных детей, внушив ему безумную мысль, что в одиночестве он будет ближе к Богу, чем среди живой жизни?

Бледный, с дрожащими губами, слушал ее Вирата.

— Не ведал я того, что служу соблазном для других. Я мнил: жизнь моя замыкается мною.

— Где же твоя мудрость, мудрец, если ты не знаешь того, что знают даже отроки: что все дела наши от Бога и что никому не уйти от них и от закона вины? Гордыня обуяла тебя, ты возомнил себя господином, господином своих деяний и наставником людей. Что было сладостно тебе, стало для меня горечью, а твоя жизнь — смертью этого ребенка.

Вирата задумался, потом склонил голову и сказал:

— Правду говоришь ты, и я вижу, что всякая боль приносит больше познания истины, чем все тихие раздумья мудрецов. Все, что я знаю, я узнал от несчастных, и все, что я видел, я увидел во взоре страдальцев, во взоре извечного брата. Не смиренным я был пред лицом Бога, а гордецом: я познал это через твою горе, которым сейчас терзаюсь сам. Прости меня, ибо я каюсь перед тобою: я причинил зло тебе и еще многим, о ком не ведаю. И бездействующий совершает деяния, за которые он несет вину на земле, и одинокий живет во всех своих братьях. Прости же меня, женщина! Я возвращусь из леса, дабы вернуться и Паратика и зачал новую жизнь в твоём лоне взамен погубленной.

Он низко склонился и прикоснулся губами к краю ее одежды. И тогда гнев оставил ее; пораженная, смотрела она вслед уходящему Вирате.

Еще одну ночь провел Вирата в своей хижине, глядя на звезды, белым сверканием пронзавшие глубины неба и угасшие поутру, еще раз созвал он птиц, покормил и приласкал их. Потом взял посох и чашу, как в тот день, много лет назад, когда он пришел сюда, и возвратился в город.

Лишь только разнеслась весть о том, что святой покинул свою уединенную обитель и опять пребывает в стенах города, народ стал стекаться со всех сторон, радуясь редкому гостю, но были и такие, кто питал тайное опасение, как бы возврат его от Бога не предвещал бедствия. Среди общего преклонения шел Вирата и пытался приветствовать людей своей обычной доброй улыбкой, но впервые он не мог улыбаться, и взор его оставался суровым и уста замкнутыми.

Так достиг он царского дворца. Час совета уже миновал, и царь был один. Вирата приблизился к нему, и тот встал, чтобы заключить его в объятия. Но Вирата простерся пред царем и прикоснулся к краю его одежды в знак просьбы.

— Твоя просьба будет исполнена, — сказал царь, — прежде чем она станет словом на твоих устах. Великая честь выпала мне, что я имею власть послужить благочестивому и оказать помощь мудрому.

— Не зови меня мудрым, — отвечал Вирата, — ибо я шел неверным путем. Замкнулся круг, и я опять просителем стою у твоего порога, где некогда просил тебя уволить меня от должности судьи. Я хотел быть свободным от вины и бежал от всякого деяния, но и меня опутали сети, которые Боги расставили смертным.

— Не верю я твоим словам, — сказал царь. — Как мог причинить людям зло ты, избегавший их? Как мог впасть в вину ты, живший в Боге?

— Не по умыслу совершал я зло. Я бежал вины, но стопы наши прикованы к земле, а дела — к законам вечных Богов. И бездействие есть деяние, и я не мог сокрыться от глаз извечного брата, которому мы всегда против нашей воли приносим добро или зло. Но семикратно виновен я, бежавший от Бога и отказывавший жизни в служении.

Беспольным был я, ибо питал только свою жизнь и никому не служил. Ныне я вновь хочу послужить.

— Удивительна мне речь твоя, Вирата, я не понимаю тебя. Выскажи мне свое желание, дабы я мог исполнить его.

— Я больше не хочу быть свободным в своей воле. Ибо свободный не свободен, и бездеятельный не без вины. Свободен лишь тот, кто служит делу, кто отдает другому свою волю и свою силу, отдает, ни о чем не спрашивая. Только середина деяния принадлежит нам, его начало и конец, его причина и следствие — в руках Богов. Освободи меня от моей воли, ибо всякое желание есть смятение духа, а всякое служение — мудрость. И я возблагодарю тебя, о царь.

— Я тебя не понимаю. Ты просишь освободить тебя и в то же время домогаешься службы. Что же — свободен лишь тот, кто служит другому, а не тот, кто приказывает ему? Я этого не понимаю.

— Хорошо, о царь, что ты не понимаешь этого в сердце своем. Как мог бы ты оставаться царем и повелевать, если бы ты это понял?

Лицо царя потемнело от гнева.

— Так ты думаешь, что повелитель ничтожнее перед Богом, нежели слуга?

— Нет ничтожных и нет великих перед Богом. Но тот, кто служит и отдает свою волю, ни о чем не спрашивая, снимает с себя вину и возвращает ее Богу. А тот, кто поступает по своей воле и мнит мудростью избегнуть зла, впадает в искушение и вину.

Лицо царя оставалось мрачным.

— Так и все заслуги равны? И нет больших и меньших перед Богом и людьми?

— Быть может, иные и кажутся людям больше других, о царь, но всякое служение равно перед Богом.

Царь долго и гневно смотрел на Вирату. Уязвленная гордость растревляла душу. Но когда он увидел его изможденное лицо и белые волосы над морщинистым челом, он подумал, что старик преждевременно впал в детство. И чтобы испытать его, царь насмешливо спросил:

— Хотел бы ты стать псарем при моем дворце?

Вирата пал ниц и поцеловал подножие престола в знак благодарности.

С того дня старец, которого страна некогда прославляла четырьмя именами добродетели, стал псарем, и жил он с другими слугами в дворцовых подвалах. Сыновья стыдились его и трусливо обходили дворец, чтобы не увидеть его и не быть вынужденными признать свое родство перед людьми, жрецы отворачивались от недостойного. Только народ еще приходил подивиться на старца, который некогда был первым в государстве, а теперь водил по двору свору собак. Но он никого не замечал, и вскоре люди перестали приходить и больше не думали о нем.

Вирата ревностно исполнял свои обязанности от утренней до вечерней зари. Он обмывал собакам морды и выскребал струпья из шерсти, приносил им корм, менял подстилки и убирал нечистоты. Собаки любили его больше, чем всех других обитателей дворца, и это радовало Вирату. Его дряхлые, морщинистые уста, редко обращавшиеся с речью к людям, всегда улыбались им. И мирно текли долгие безмятежные годы его старости. Царь скончался раньше его, пришел новый царь, который не замечал Вираты и только однажды ударил его палкой за то, что собака заворчала, когда царь проходил мимо. И все мало-помалу забыли о существовании Вираты.

Когда же и для него исполнилась мера его лет и он умер, и был зарыт на свалке, где хоронили всех слуг, в народе уже никто не помнил о том, кого страна когда-то прославляла четырьмя именами добродетели. Сыновья его попрятались, и ни один жрец не пел погребальных песен над его прахом. Лишь собаки выли два дня и две ночи, потом они забыли Вирату, чье имя не вписано в летописи властителей и не начертано в книгах мудрецов.